

СЛОВАЦКИЙ КОНСУЛ

Евророман

Mario Corti

Лавруша был с усами.

Впоследствии, во время заключительной волны наглядной демонстрации ложной мужественности, усы в СССР у многих появились — перед тем как кануть в небытие вместе со страной, по которой ныне многие горюют. Но Лавруша был первым усачом, которого я встретил в нашем поколении, а оно, похоже, было последним, состоявшим не сплошь из одних рабов.

В коварных коридорах МГУ мы тогда все были безусыми — за исключением Лавруши; у него же была не просто поросль, а вполне развитая густо-толстая растительность, к тому же и висячая. Некоторым общежитским спесивцам из горожан — особенно тем, кому генетически мерещились нагайки — вислоусость эта казалась если не антисемитской, то безнадежно «от сохи». Так, в общем, оно и было. Но в исторической ретроспективе получилось, что Лаврушин фасон опередил еще не вошедшие в большую международную моду усы предстоящей нам эпохи молодежных мятежей: «подковкой».

Замечу сразу, что сам рассказчик (экзамены сдавал я чисто выбритым) уже примерно через месяц после зачисления отращивал и христосообразную бородку. Поэтому встреченные мной усы ничем меня не оттолкнули. Они придавали их носителю располагающе западный, точнее, ковбойско-голливудский вид. С другой стороны, конечно, были усы столь русскими, что русее быть не может. Классический колер несжатой полоски. Только не чахлой, а напоминающей о канувшем пшеничном изобилии. Там, на юге России, откуда, по слухам, происходил носитель, усы эти выгорели так, что не темнели даже в московские морозы. Ну, может быть, слегка. Покрывались инеем, конечно, а затем и льдом, который приходилось ему скусывать, спеша к дверям Главного здания, но оставались все такими же светло-русыми.

Лавруша имел привычку их разглаживать. Вниз к концам, а после вспять. Шерстить. Глядя при этом мимо — поверху и как бы вдаль — своими серо-голубыми. Нет, не прозрачными, а с такой лениво-благодушной замутненностью, будто Лавруша только что спустился из профессорской столовой в зоне «А» с обеда не менее чем за полтора рубля, — или же злоумышляет нечто в направлении студенток Иностранной группы.

Не то чтобы я был за *смычку* города и деревни, но внешность, скорей, располагала своей открытостью. При этом с душою нараспашку Лавруша не был. Даже напротив. Казался себе на уме. Причем настолько, что на первом же семестре подпал под подозрение тех, кому было что скрывать от власти. Что, собственно, помимо усов и сытой внешности, Лаврушу и выперло из общей массы: досужее о нем гадание. *Стукач?* Или просто чужак на букву «м», по врожденной своей бездуховности игнорирующий самиздатскую поэзию, «новомировскую» прозу, обе книги Бахтина и лекции Аверинцева Сергей Сергеевича?

Проявившись очень быстро и нагло, реальные стукачи, сексоты Первого отдела, завершили период гадательного беспокойства. Политически чистый, но бездуховный Лавруша лишился внимания со стороны наших интеллектуалов (впоследствии почти поголовно отчисленных), которые стали называть его за глаза *Станичник*. Кличкой, так сказать, лежащей на поверхности, поскольку приехал Лавруша на Ленгоры оттуда же, откуда в свое время — за 17 лет до нас — здесь же в первокурсниках появился судьбоносный, но пока еще неведомый человечеству «Горби».

Да. Ставрополье.

Крещеная, то есть, земля.

Сам Лавруша, впрочем, протаскивал идею, что он — казак. Теми ночами нам с Коликом не раз приходилось слышать и зажимать себе при этом рты, чтоб не заржать: «Я, как казацкий сын...»

В каком качестве *приходилось*?

А вот и не знаю даже. Жизнь прошла — ответить не могу. Друг? Или просто *другой*?

Конечно, нет.

Не просто.

Жизнь прошла у меня — сам выбрал себе такую — в ретроспективном изучении остывающих мотивов и причин, но в данном случае, возможно, лучше будет просто обозначить обстоятельства, в силу которых я в ту зиму оказался на соседнем «батуте» — в роли Лаврушиного вольнослушателя.

После разрыва с Леной, который еще не был мной осознан и виделся победой здравомыслия, благоразумно предпринятой отсрочкой до лучших времен (в смысле даже сартровского *sursis*, если вспомнить философский контекст эпохи), я в самом начале 1972 года вернулся на Ленгоры, где был прописан. В альма-матер. В гранитно-мраморное лоно.

Блочная квартира в «спальном» городе за окружной дорогой была теперь мне не нужна, но, задолжавши хозяйину с ноября, свалить не расплатившись я, разумеется, не мог. Должник — это да. Не уклонист. А если так, если честно признаешь свои обязательства в отношении кредитора, то не все ли равно, где при этом физически находишься? Пусть, рассудил я, долг там, в Солнцево, растет, а я тем временем хотя бы отогреюсь меж людей. С этой мыслью однажды на ночь глядя зачехлил свою машинку, оделся, нахлобучил шапку и перед выходом приоткрыл дверь...

В фанерную стенку ванной комнатки размером с посылочный ящик (но с зеркалом, где издали я отражался) был ввинчен крюк из грубого сплава цинка с алюминием, круто-задранный своим финальным шариком и кричаще избыточный для того, что забыто на нем висело. Я протянул руку, взял за подол, наклонил голову и потянул носом в попытке возбудить рецепторы. Но запаха не было. *Ацетат*, подумал я. Искусственный шелк. Если и был в нем когда-то эротизм, то выдохся и действовал на меня не больше, чем в подростковом возрасте эротизм рейтузов, задубело гремящих на ветру. Разве что цвет еще удерживал — серебристо-серый. И кружево — тем, что внизу было надорвано. Хотя у нас и было ощущение, что человечество готово выбросить на свалку истории этот обязательный артикул исподней эпохи наших матерей, Лена высказывала намерение подшить. И даже, помнится, не раз. Но было не до того, конечно. Особенно в финале нашей на год растянувшейся попытки навязать себя Москве в качестве любящей друг друга пары.

Глядя из темноты, я вдруг почувствовал себя в музее. Казалось бы, совсем недавно все это было объемом и частью моей жизни, где после ванны она однажды решила обойтись без «комбинашки», которая вслед за этим сразу же превратилась в экспонат вместе с горделивым крючком, поржавелыми шляпками его шурупов и фанерой, крашеной бледной охрой, в пупырышках: выхваченная из небытия моим отрешенным взглядом часть экспозиции под невозможным, так кажется сейчас, названием; но все ведь *прейдет*, о чем не надо забывать, стоя здесь-и-сейчас: «Советский быт. Москва, начало 70-х...»

Увы, общага не согрела.

На моей высоте и с моей стороны задувало так, что в незаклеенные щели комнату кинжально пронизывало стужей. Тот факт, что от окна я был частично отгорожен секретером, не очень помогал. Левая рука, державшая на весу и сквозняке книгу*, которая была издана на Западе в год моего рождения, а здесь только что, — факт, добавочно обогащавший ощущение оторванности от цивилизованного мира, — коченела так, что ею же перевернуть страницу я не мог, даже укладывая книгу себе на грудь. Приходилось выталкивать наружу правую, нагретую подмышкой. «Он всегда нес ответственность за счастье тех, кого любил...»

И я, наверно, тоже — не будучи католиком, в отличие от героя. Как же иначе? Вот только не было уверенности, что поступил на сто процентов правильно, отправив Лену домой к ее предкам. Еще осенью, с первыми заморозками, я понял, что пережить вторую зиму мы сможем только расставшись. Об этом не могло, конечно, быть речи. Лучше умереть. В объятьях заснуть и не проснуться. Защитниками Брестской крепости любви...

Погибнуть в обороне Лена была совсем не против. Это проще, чем выживать, и намного красивей морально. При этом по своей провинциальной инфантильности, которую я так обожал, не понимала Лена, что в столице СССР есть варианты и похуже, чем околоть на пару от голода и холода в конспиративной квартирке за кольцевой дорогой. Куда менее красивые. Что одно дело — рисковать жизнью и свободой, вдохновенно создавая «заведомо клеветнические измышления», и совсем другое — залететь при попытке сбыта той же Библии, уведенной, можно сказать, прямо из-под престола сатаны — из КГБ, к которому относился особняк Комитета по делам религий (при Совете министров СССР), который мне однажды довелось посторожить. Да, тот — на Зубовском бульваре. В чистом виде экспроприация экспроприаторов — если иметь в виду, что предварительно эту русскоязычную Библию американской работы конфисковали на таможне в Шереметьево. Можно представить, с каким наслаждением они бы мне впяли срок, заметь утрату. К счастью, Библиями этими чердак Комитета забит был так, что дверь не закрывалась. Но Библия Библией, там хоть какое-то метафизическое измерение, а вот залететь на пару при краже буддистско-оранжевой тыквы с колхозного поля за киевской «железкой» или при попытке похитить из магазина прогрессивной торговли «Универсам» на Горького банку дальневосточной морской капусты...

Я упредил срыв в пропасть. Нашел способ выжить обоим до весны. Но откуда при этом чувство, что тем самым я убил любовь?

* «Суть дела» Грэма Грина.

Несмотря на два положенных мне одеяла, байковое и шерстяное, заснуть получилось только как на плацкартной полке по пути к бабушке в тот же Ленинград — в шапке, в пальто и влажно-горячо дыша сквозь мохеровый шарф, доставшийся от приятеля, который был отчислен и забрит в СА...

Неужели меня ждет та же судьба?

Проснулся я не только в холоде, но и в полной тишине. Ни звука из сталинских стен. Один не только в комнате и «блоке», но, кажется, во всем коридоре, то есть, центральной его «кишке» — вот именно, что прямой...

Но все же, скорее, вагине, потому что схематически коридор — и моего семнадцатого этажа, и всех в этой гуманитарной «зоне» — напоминал о женской анатомии. И не только моим вагинальным коридорчиком, но и загибами на дальних флангах перпендикулярного центрального, которые глупо назывались тут, в МГУ, «сапожками».

Что мне тут делать в одиночестве?

Подвывать пурге?

Не то чтобы мне было совсем уж некуда поехать на зимние каникулы — нет. Была возможность рвануть в Питер, в Минск. Но видеть никого мне не хотелось, а тем более родственников, которые все это время правильно считали, что сын и внук сошел с ума, и в том упорствует. Конечно, можно смирить гордыню, дабы вырваться из этой блокады холода и одиночества. Но тут проблема денег. Когда последний раз они были, их хватило только на один билет. Плацкартный. Плюс на бутылку «Московской» и трехлитровую банку краснодарского томатного, чтобы отметить конец любви символически адекватно. «Кровавой Мэри»!

Когда я вышел в коридор, пустота невидимого лабиринта всей гулкостью зарезонировала мне навстречу, усиливая чувство одиночества. Теперь, утратив — собственноручно уничтожив! — смысл жизни, я не особенно стремился к выживанию, ради которого была предпринята разлука. Хлеб внизу в столовой был бесплатным, и этого знания мне было достаточно для сытости. Да и какая разница, голоден, сыт ли... Не хлебом единым! Просто двигался невесомо мимо запертых дубовых дверей, которые отражали круглосуточный свет натертой поверхностью, заброшенными щелями почтовых ящиков, которыми никто не пользовался, и четырехзначными латунными номерами. И все же, дойдя до дальних кухонь, я в них заглядывал, вдыхая там стылый чад и вволю напиваясь холодной водой из-под крана. Однажды застал дух только что поджаренной картошки — причем, на французский манер, целиком в оливковом масле, доступ к которому мог быть, понятно, только у иностранца. *French fries*. Одна зажаренная палочка, по которой я восстановил целое, припаялась к подкрылку газовой плиты. Я потянул, палочка разорвалась. Подержав вялую половинку, положил ее обратно на закрылок.

В другой раз долго, может быть, с час, смотрел на оставленный чайник, который возмущенным паром с грохотом подбрасывал свою оловянную крышку образца 1953 года. Ручки этих крышек — держалки — на всех чайниках, которые я видел за эти годы, давным-давно оторвались, но на этой крышке каким-то чудом держалка удержалась — обожженно-черного дерева. В какой-то момент я соскочил с подоконника, наполнил испарившийся чайник и стал ждать закипания снова. Никто так и не вышел к чайнику. «Не иначе как...» — сказал себе я безучастно, продолжив ожидание в надежде, что затем они вспомнят про чай. Нет. Видимо, так и заснули в объятьях.

Я выключил газ и покинул кухню.

Было впечатление, что никого не осталось на этаже, а возможно, во всей 18-этажной «зоне», во всем этом здании — зря зовущемся «альма-матер». Какая же альма, чем *кормящая*? Гранитом сыт не будешь — пусть и наук.

Да ладно. Не гранитом единым...

Опроверг меня смех — слева там, за углом, и даже, скорее, за двумя. Я ускорил шаги, расплываясь в улыбке заранее. Свернул к лифтам и там, на фоне порталов, окаймленных истерзанно-прочным дюралюминием, увидел наших «южан».

Склоняясь над хромированной чашей с песком, полуночники изучали окурки. После чего втыкали обратно в серый песок или отбрасывали на лист «Комсомольской правды», предварительно выдранный из подшивки, зажатой меж двух деревянных реек и лежащей тут же в холле на круглом дубовом столе. Ребята не без смущения взглянули на меня, но активности своей не прервали, хотя один из них — не Лавруша — пропел, пытаясь ввести все это в культурный контекст:

На палубе матросы

Курили папиросы,

А бедный Чарли Чаплин

Окурки собирал...

Чаша пепельницы наглядно демонстрировала, что одиночество мое в «зоне» если не мнимо, то драматически преувеличено. «Бычков» было столько, что, игнорируя наши коричневатые-крапчатые, брались только безошибочно американские — с белыми фильтрами. По окрашенности их срезов никотином сразу видна была мера «курибельности»: неизменно высокая. «Форины» почему-то до фильтров никогда не